

В. Г. Белинский

**Полное собрание сочинений в
13 томах**

Том 9

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82
ББК 83
Б43

Белинский В.Г.
Б43 Полное собрание сочинений в 13 томах: Том 9 / В. Г. Белинский – М.: Книга по Требованию, 2013. – 811 с.

ISBN 978-5-518-16222-8

Статьи и рецензии 1845—1846 годов («Петербургская литература», «Тарантас. Соч. графа Соллогуба», «Физиология Петербурга», «Мысли и заметки о русской литературе», «Петербургский сборник» и др.)

ISBN 978-5-518-16222-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

⟨РЕЦЕНЗИИ, 7 МАРТ—АПРЕЛЬ 1845 г.⟩

1. **Тарантас.** Путевые впечатления. Сочинение графа В. А. Соллогуба. Издание книгопродавца Андрея Иванова. Санкт-Петербург. 1845. В тип. Journal de St.-Pétersbourg. В 4-ю д. л., 286 стр.¹

Наконец давно ожидаемый публикою «Тарантас» графа Соллогуба торжественно выкатился на пустынное поле современной русской литературы. Слухи, толки и извещения о его печатании, о его великолепной наружности давно уже возбудили общее ожидание, общее внимание. В литературном отношении публика хотя несколько знакома с «Тарантасом» по отрывку из него, напечатанному в «Отечественных записках» 1840 года,— по крайней мере, знакома с ним настолько, чтоб иметь хотя какое-нибудь представление о его содержании.² Но издание, по слухам и объявлениям, должно было превзойти всё, что до сих пор было у нас по части так называемых роскошных и великолепных иллюстрированных изданий. По большей части все обещания бывають или много ниже, или хоть немного ниже исполнения, за слишком немногими исключениями. К счастью, в отношении к изданию «Тарантаса» исполнение несколько не разошлось с обещаниями и далеко превзошло самые доверчивые ожидания. Мы не говорим уже о том, что бумага, печать и вообще возможная в России типографская роскошь, соединенная со вкусом, не оставляют ничего желать и что в этом отношении едва ли какое-нибудь русское издание может состязаться с «Тарантасом». Мы не говорим, что картинки (числом до пятидесяти) резаны на дереве мастерами своего дела и оттиснуты не по-русски: всё это вещи второстепенные. Обратим лучше всё наше внимание на самое сочинение картинок, на рисунок и скажем, что в отношении к нему «Тарантас» есть не только изящное, роскошное и великолепное, но еще и *русское* издание. Вглядитесь в эти лица

мужиков, баб, купцов, купчих, помещиков, лакеев, чиновников, татар, цыган — и согласитесь, что рисовавший их (один известный любитель, скрывший свое имя) не только мастер рисовать, но и великий художник и знает Россию.¹ Иностранец не мог бы так рисовать! Почти все наши политипажные картинки или переделываются с французских, или, по крайней мере, сохраняют на себе отпечаток влияния французского типа и похожи на иностранцев, обжившихся в России. Не таковы рисунки «Тарантаса»: это чистая, неподдельная Русь. Но не одни лица — взгляните в картинку на 48-й странице: это не только русская деревня, но и русское небо, свинцовое, тяжелое... Автор этих картинок — художник не по званию, а по призванию, обладает карандашом, о котором можно говорить, говоря о карандаше Тони Жоано и Ораса Вернэ. И этому карандашу так повинуются русская действительность, русская природа!..

Что касается до текста, он не по ошибке украшен такими картинками. Вообще, издание стоит текста, текст стоит издания. «Тарантас» графа Соллогуба — сочинение оригинальное и интересное. Это — пестрый калейдоскоп парадоксов, иногда оригинальных, иногда странных, заметок самых верных, наблюдений самых тонких, с выводами, иногда поражающими своею истинностию, мыслей необыкновенно умных, картин ярких, художественно набросанных, рассуждений дельных, чувств горячих и благородных, иногда доводящих автора до крайности и односторонности в убеждениях. Это книга живая, пестрая, одушевленная, разнообразная, — книга, которая возбуждает в душе читателя вопросы, тревожит его убеждения, вызывает его на споры и заставляет его с уважением смотреть даже и на те мысли автора, с которыми он не соглашается. Это не роман, не повесть, не путешествие, не философский трактат, не журнальная статья, но то и другое и третье вместе. Автор является в своей книге и литератором, и художником, и публицистом, и мыслителем...

Вот всё, что можем мы наскоро сказать о «Тарантасе» графа Соллогуба. В следующей книжке «Отечественных записок» мы поговорим о нем поподробнее в отделе «Критики»: такие явления, как «Тарантас», у нас редки, и о них нельзя говорить вскользь.²

2. Прокопий Ляпунов, или Междуцарствие в России, продолжение Князя Скопина-Шуйского. Сочинение того же автора. Санкт-Петербург. В тип. военно-учебных заведений. 1845. Четыре части. В 8-ю д. л. В I-й части 219, во II-й — 236, в III-й — 252, в IV-й — 278 стр.³

Почти десять лет прошло с того времени, как появился в свет роман «Князь Скопин-Шуйский», до настоящей минуты,

когда появляется продолжение этого романа — «Прокопий Ляпунов, или Междуцарствие в России». Десять лет — много времени, особенно для русской литературы — это почти целый век для нее! В самом деле, какой огромный шаг вперед сделала наша литература! Как изменился вкус нашей публики в продолжение этих десяти лет! Кинем беглый взгляд на тогдашнее состояние русской литературы. В 1830 году явился «Юрий Милославский»,¹ в 1831 — «Рославлев» г. Загоскина, в этом же году выходят две первые части «Новика»,² в 1832 — третья, в 1833 — четвертая, в 1835 году — «Ледяной дом» г. Лажечникова. В эти же пять лет выходят романы: «Поездка в Германию» г. Греча, «Киргиз-Кайсак» г. Ушакова, «Дочь купца Жолобова», quasi*-куперовский сибирский роман г. Калашникова, «Клятва при гробе господнем» г. Полевого, «Семейство Холмских»,³ «Монастырка» г. Погорельского; г. Вельтман открывает «Ющеем бессмертным» длинный ряд своих археологически-фантастически-аллегорически-поэтических романов; является «Аббадонна» г. Полевого; выходит вторая часть «Дворянских выборов» и «Шельменко, волостной писарь»,⁴ «Были и небылицы» Казака Луганского; в то же время выпускается полное издание повестей Марлинского; г. Погодин перестает писать повести и издает вместе все написанные прежде; г. Полевой пишет «Живописца», «Блаженство безумия», «Эмму». Некоторые из этих произведений были очень замечательны для своего времени, и даже в слабейших из них, не исключая ни приторно-сентиментального и скучно-резонерного «Семейства Холмских», ни ложно-идеальных повестей г. Полевого, есть свои хорошие стороны. Вообще, вся эта романическая литература носит на себе отпечаток переходности и нерешительности: в ней виден порыв к чему-то лучшему против прежнего, к чему-то положительному, но только один порыв без достижения. Из этого не исключаются и «Повести Белкина» Пушкина, изданные в это же время.⁵ В то же время, среди всех этих более или менее однородных явлений, возникла совершенно новая романическая литература, которая не имела ничего общего с первою и впоследствии окончательно убила ее, дав всей русской литературе совершенно новое направление. В 1831 году вышла первая, а в 1832 году вторая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в 1835 г. напечатаны «Арабески» и «Миргород», а в 1836 — «Ревизор». Нет нужды распространяться о том, какое огромное влияние имели эти произведения Гоголя на русскую литературу: только действительно слепые или притворяющиеся слепыми могут не видеть и не признавать этого влияния, вследствие которого все молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголем, стараясь

* мнимо (латин.). — Ред.

изображать *действительное*, а не в воображении существующее общество; из прежних писателей некоторые переменили свое прежнее направление, подчиняясь новому, данному Гоголем; а те, которые не были в состоянии этого сделать, или перестали вовсе писать, или продолжали писать без всякого успеха. Это совершилось в последние десять лет. Гоголь не издавал ничего после «Ревизора» до 1842 года, а дело шло своим чередом, и время лучше всех критиков решило вопрос. «Мертвые души», заслонившие собою всё написанное до них даже самим Гоголем, окончательно решили литературный вопрос нашей эпохи, упорчив торжество новой школы.

«Скопин-Шуйский» г-жи Шишкиной явился в 1835 году, когда старая романическая школа уже совершила свой круг, а новая, еще не быв признанною, уже оказывала сильное влияние. Роман г-жи Шишкиной был не без достоинств, особенно для того времени; но он далеко не мог спорить в достоинстве с романами, которые породили его. Проходит десять лет, всё изменяется в литературе, как мы уже сказали об этом; журнальные корифеи начала тридцатых годов, «Телеграф» и «Телескоп» — теперь уже не более, как отдаленное воспоминание, «дела давно минувших дней»; ¹ даже «Библиотека для чтения», смеившаяся их, уже дожила до глубокой старости; «Отечественные записки», долго колебавшиеся в своем направлении, наконец вполне овладели им, возмужали и укрепились; обо многом в это десятилетие было переговорено, переспорено, и во многом даже согласились, — словом: всё изменилось; но новый роман г-жи Шишкиной, «Прокопий Ляпунов», вышел верным 1835 году, так что, читая его, не веришь 1845 году, выставленному на его заглавии. Теперь этот роман принадлежит к числу тех произведений, которые не производят особенного впечатления, слегка похваляются, слегка почитываются и скоро забываются. Между тем он не без достоинств: написан правильным и чистым языком; рассказ местами хорош; историческая сторона его показывает основательное изучение истории, но нет творчески очерченных характеров, нет поэтически верного проникновения в дух и значение исторической эпохи, нет эстетической жизни. Во многом заметен взгляд слишком далекий: так, например, в предисловии сочинительница в доказательство, что нельзя верить бескорыстию Ляпунова, приводит, что он был дурным мужем и не всегда трезво вел себя, — как будто нельзя быть в одно и то же время и дурным мужем и ревностным патриотом! Без всякого сомнения, быть дурным мужем — не достоинство, а порок; но неужели патриот непременно должен быть ангелом и иметь все добродетели? Если можно быть превосходнейшим мужем и отцом и в то же время вовсе не быть патриотом, почему же нельзя быть дурным мужем и патриотом? Конечно, гораздо лучше быть и

хорошим мужем и патриотом вместе; но люди — прежде всего люди, что бы ни говорили на этот счет дамы... Что же касается до *нетрезвости*, этот порок в тот век не в одной России, но и во всей Европе считался добродетелью мужчины: тогда пили не по-нынешнему и хвалились пьянством, как храбростью. Лучшее оценкою нового романа г-жи Шишкиной могут служить ее собственные слова в предисловии:

Сама нередко удивляюсь, как решилась я писать исторические романы. Много требовалось на это трудов и терпения, много было мне забот и препятствий. Но высокая цель оживотворяла меня. Я считала святым вдохновением, призванием божим желание пробудить в благородных сердцах любовь к родному, часто заглушаемому иностранными наставниками и не совсем справедливою, но великолепною картиною нерусского образования. Истории должно учиться. Она полезна, необходима. Все это знают, и никто об этом не спорит. Но и приятное развлечение часто необходимо для ума и для сердца. Историю не все читают, не все могут понимать и ценить важность происшествий государственных, но читая «Ивангю»,¹ «Юрия Милославского» и им подобные исторические романы, всем приятно, мысленно переносясь в отдаленные века, как будто лично беседовать с людьми знаменитыми, среди семейств их, в их домашнем быту.

Видите ли: романы пишутся для приятного развлечения ума и сердца? «Юрий Милославский», без дальних околичностей, поставлен рядом с «Ивангю»?.. Этим всё сказано... Как действительно приятное развлечение для ума и сердца, «Прокопий Ляпунов» и теперь, конечно, найдет себе читателей и даже почитателей, — чего от всей души желаем мы ему, как роману, написанному с целию, без всякого сомнения, благонамеренною и похвальною. Приводим несколько строк, как образчик рассказа г-жи Шишкиной, местами не лишённого интереса. Дело идет о допросе охотника, подозреваемого в покраже кубка у князя Шуйского. Еще прежде было пытано несколько человек.

Претерпев жестокие истязания, но ни в чем не признавшись, несколько человек лежали окровавленные; глухой их стон и вой их ближних раздирали души (ч. I, стр. 19).

Пропускаем допрос охотника и обращаемся прямо к *делу*:²

Резкий вопль снова смутил Козьявкина. Он обернулся и на крыльце у ближней избы увидел нестарую, еще пригожую крестьянку. Узнав мать охотника, он с презреньем подумал, что напрасно встревожился, и велел воинам исторгнуть у молодого новгородца признание, когда и как украл он кубок и куда его спрятал. Любовь и ненависть, надежда и отчаяние попеременно изображались во взорах и чертах несчастной матери, болезненные ее вопли часто заглушали стон ее сына, но она была недвижима, она как будто приросла к крыльцу, или, лучше сказать, всё в ней окаменело, кроме головы и сердца.

Истерзанный охотник клялся в своей невинности; голос его ежеминутно слабел, но, кроме бесчеловечного Козьявкина, никто бы не усумнился за истине слов его.

нельзя разить; он не лицо, не образ: он — дух, он в воздухе, в воде, в пище; ему равно служат и те, которые любят его, и те, которые ненавидят; для него всё средство к успеху, — даже моды на платья, на мебель... потому что у китайцев не существует даже мод; но зато у китайцев нет молодых поколений: каждый человек делается там стариком, лишь только успеет родиться...¹

Самолюбие играет большую (и чуть ли даже не главную) роль в нерасположении стариков ко всему новому. Видя, что всё на свете идет и делается не так, как бы им хотелось, не так, как всё шло и делалось в их время, старики *обижются* и говорят юношам: «Что же, мы глупее вас, а вы умнее нас? Разве мы затем прожили век свой, набирались уму-разуму, богатели мудрою опытностью, чтоб на старости лет неопытные мальчишки вздумали учить нас?» Люди молодого поколения должны были бы отвечать на это старикам: «Каждый из нас, отдельно взятый, может быть менее опытен и мудр, нежели каждый из вас, отдельно взятый; но наше молодое поколение и опытнее и мудрее вашего, потому что оно старше вашего и к вашей опытности приложило свою собственную». Но, к сожалению, молодые люди так же имеют свои *молодые* слабости и недостатки, как старые люди имеют свои *старые* слабости и недостатки, — и почти каждый юноша готов смотреть на старика, как на ребенка, а на себя, как на возрастного человека, не понимая, что вся его заслуга и всё преимущество перед стариком состоит только в том, что он позже его родился, и что это ведь совсем не заслуга... Итак, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда неправы в отношении к молодым, а молодые всегда правы в отношении к старикам. Но борьба между ими не прекращается ни на минуту, и одно время решает без лицепрятия, кто прав, кто виноват, хотя многие доживают до решения своей тяжбы, и старики по большей части умирают с убеждением, что они правы, что их тяжба выиграна и что горе новому поколению, которое пошло своею новою дорогою... Как бы то ни было, только самолюбие играет чуть ли не главную роль в этой вечной распре. Это особенно заметно в умственных сферах, в которых борьба сильнее и живее, как, например, в сфере литературной. Здесь самолюбие действует тем сильнее, что вопрос идет не об одной физической старости, не об одной физической смерти, но о старости и смерти нравственной, смерти заживо. В лета молодости способности человека деятельны и живы, душа его восприимчива для впечатлений; в лета возмужалости впечатления молодости делаются, так сказать, нравственным капиталом человека, процентами с которого он живет и в старости. Большею частью люди совершенно определяются в тридцать лет и считают за истинное и прекрасное только то, что успели признать они истинным и прекрасным до тридцатилетнего возраста их жизни, под влиянием своих пер-

вых впечатлений, и не признают никакой истины, которая явится, когда они перейдут за роковую черту своих тридцати лет. Так на Руси и теперь еще есть люди, которые без ума от стихов Державина и которые косо смотрят на стихи Жуковского, видя в Жуковском *нового* писателя, хотя этот *новый* писатель пишет уже более сорока лет. Какая причина этому? Очень простая: они прочли и выучили наизусть стихи Державина в то время, когда их способность восприимчивости была в полной своей силе; когда же явился Жуковский, их душа уже закрылась для впечатлений: они уже не могли принять откровений новой поэзии всею полнотою своего существа. Идея и форма державинской поэзии до того овладели их умом, что для них поэзией казалось только то, что походило на стихи Державина. Но как произведения Жуковского нисколько не походило на оды Державина, то они и не могли признать в Жуковском поэта. Таким образом, им невозможно было без досады видеть, что другие восхищаются Жуковским, и на всех этих *других* они стали смотреть, как на людей с дурным вкусом, как на людей заблуждающихся, потому что самолюбие человеческое всегда готово оправдать себя насчет других и в собственной своей ограниченности растолковать себе, как чужую ошибку, чужое заблуждение. Ведь в самом деле, тяжело же сознаться, что мы отстали, что наше время прошло; и ведь не переучиваться же стать в почтенные лета... Кто не помнит, какой шум, какие споры, какую борьбу возбудило появление Пушкина! Старцы (и старые и молодые) с таким ожесточением оспаривали поэтическое достоинство первых произведений Пушкина, как будто бы дело шло о их жизни и смерти... И действительно, дело шло ни больше, ни меньше, как о их жизни и смерти — только нравственной, а не физической. Таких старичков теперь осталось мало, да и те приумолкли, а некоторые даже, притерпевшись и привыкнув к славе Пушкина, на слово поверили ее действительности. Но вот пример свежее: кому неизвестно, с каким ожесточением встретили старцы талант Гоголя? И до сих пор еще бранят они его, даже подражая ему, чтоб добиться какого-нибудь успеха, — и бранят его даже в тех самых своих изданиях, в которых так безуспешно подражают ему... И это ожесточение против — можно смело сказать — гениального писателя очень понятно. Все люди самолюбивы, но особенно люди, которые хотят казаться талантливыми там, где им всего более отказано в таланте, и преимущественно люди с мелкими способностями и дарованиями, которые когда-то воспользовались мгновенным успехом. Пережив свои сочинения, некогда имевшие какой-нибудь успех, видя, что их новые попытки возбуждают только смех, в отчаянии, что они не могут подделаться под писателя, увлекшего за собою всю литературу, всю публику, в досаде,

что они не могут даже понять ни смысла, ни достоинства его сочинений, эти горе-богатыри поневоле раздражаются против него и вступают с его славою в неравную для них борьбу. Они со слезами на глазах и с бранью на устах клянутся публике, что это писатель без таланта, без вкуса, что он не знает грамматики, тогда как они сами — первые грамотеи; что он рисует одну грязь, тогда как они изображают одну добродетель и благонамеренность, которыми преисполнены их сердца.¹ Но публика их не слушает, сочинений их не читает, а преследуемый ими автор как будто и не подозревает их существования, идя своею дорогою и не замечая их воплей. Что им делать? Не знаем, право, что они теперь делают или что будут делать; но вот уже давно, как слышим жалобы на то, что современные писатели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы, преимущественно *толстые*, искажают и губят русский язык и что остается только средству спасти его от гибели — начать подражать Карамзину, строго держась его слога и орфографии...² С особенным жаром приглашаются к этому молодые и подающие надежды писатели... Нужно ли говорить, что приглашающие давно уже не принадлежат к числу молодых и еще менее к числу писателей, подающих надежды?.. И это пишется и печатается в наше время!.. Подражать Карамзину в слоге, держаться его орфографии! Уж не лучше ли обратиться к Ломоносову и его избрать образцом?.. Что Карамзин справедливо назван преобразователем русского языка, русской прозы, что он оказал русской литературе такого рода услуги, которые никогда не забываются, — всё это аксиомы. Но в то же время нет никакого сомнения, что достоинство его сочинений теперь имеет чисто историческое значение, тогда как в свое время оно имело значение не только литературное, но и художественное. Теперь «Бедную Лизу» и «Марфу Посадницу» можно читать не для эстетического наслаждения, а как исторический памятник литературы чуждой нам эпохи; теперь на них смотрят с тем же чувством, как смотрят на портреты дедушек и бабушек, наслаждаясь добродушным выражением их лиц и оригинальностью их старинного костюма... Пусть укажут нам старцы хоть на одну статью Карамзина, которая могла бы теперь возбудить другой интерес... Как же, спрашиваем мы, подражать произведениям, которые были безусловно хороши только для того времени, когда были писаны?.. Карамзин преобразовал русскую прозу, и в этом его великая заслуга, его великое право на признательность потомства; но сущность и заслуга его преобразования состояли совсем не в том, чтоб он дал вечные образцы прозы, а в том, что он дал возможность явившимся после него писателям опередить его на этом поприще, им же открытом. До Карамзина русская проза не переставала скрипеть тяжелыми ломоносовскими периодами;

Карамзин вывел ее из этого заколдованного круга на большую дорогу, и она пошла, уж больше не нуждаясь в его исключительном руководстве. От латинско-немецкой конструкции, столь несвойственной русскому языку, он обратил ее к французской конструкции, более ему свойственной, и чрез это дал средство русскому языку, бывшему обезьяною то латинско-славяно-немецкого, то французского, сделаться со временем совершенно русским языком. Но язык самого Карамзина далеко не русский: он правилен, как всеобщая грамматика без исключений и особенностей, лишен руссизмов, или этих чисто русских оборотов, которые одни дают выражению и определенность, и силу, и живописность. Русский язык Карамзина относится к настоящему русскому языку, как латинский язык, на котором писали ученые средних веков, — к латинскому языку, на котором писали Цицерон, Саллюстий, Гораций и Тацит: узнав в совершенстве первый, можно совсем не знать второго; легко понимая первый, можно совсем не понимать второго. Язык мелких сочинений Карамзина, говорят, гораздо ниже языка, которым написана «История государства Российского» и который будто бы есть вечный образец русского языка, русского слога. Это едва ли справедливо. Если что особенно хорошо в истории Карамзина, это — изложение событий, уменье рассказывать. Но слог этой истории какой-то академический, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, обделанный, ритмический, певучий, с прилагательными после существительных. Карамзин употребляет часто слова летописей, старается проникнуть свой слог их духом, но остается при одном усилии. Нет спора, что всякий, кто хочет быть писателем, должен читать старых авторов для изучения отечественного языка; но утверждать, что он должен подражать кому-нибудь из писателей, особенно старых, — это верх нелепости. Мы не раз имели случай изъявлять удивление, каким образом поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину, который вовсе не был поэтом, хотя и писал стихи и сочинял повести? И какое из его произведений могли бы они взять себе за образец — «Бедную Лизу» или «Марфу Посадницу»?.. Хорошие образцы для нашего времени — нечего сказать! В таком случае, почему же не начать подражать «Россияде»? Интересно знать, какую бы поэму написал Лермонтов, если бы взял себе за образец «Россияду», какой бы роман написал он, если бы взял себе за образец «Кадма и Гармонию»?..¹ Давайте же подражать старым писателям, давайте жить задним умом, давайте ходить раковою манерою, — далеко уйдем!.. Подражать! Да разве можно и должно кому-нибудь подражать? Разве подражание произвело хоть одного порядочного писателя? Разве оно подкрепило чей-нибудь талант? Разве, напротив, оно не портило, не ослабляло и

действительно сильных талантов? Разве это не аксиома в наше время? Разве вопрос о подражательности не решен давным-давно? Разве советовать подражать не значит — подвергаться тому, что по-французски называется *ridicule** и для выражения чего нет равносильного русского слова?.. Подражать, значит — жить чужим умом, чужими мыслями, чужим талантом. Иметь нужду в подражании значит — не иметь нисколько таланта, при сильной охоте марать бумагу... Но зачем же наши старцы так настоятельно советуют подражать? Затем, чтоб никто не писал так, как пишет Гоголь... А! это другое дело! Вот как, например, хвалят они сочинения г. Масальского:

«Регентство Бирона», «Осад Углича», «Русский Икар», «Дон Кихот XIX века», «Стрельцы», «Черный ящик», «Граница 1616 года», «Бородолюбие», «Терпи, казак, атаман будешь» (повесть в стихах), несколько мелких статей в прозе и несколько десятков стихотворений, заключающихся в этих пяти томах, написаны чистым, правильным языком, *вмещают в себе ум*, чувство и познание истории и представляют верные очерки эпох и характеров. У К. П. Масальского нет таких остроумных изречений, как, например: *са поги смятку* и т. п.¹

И мы не можем не похвалить г. Масальского за то, что он не употребляет некоторых выражений, употребляемых Гоголем, — так же точно, как не можем не похвалить подражателей Корнеля и Расина за то, что они в своих трагедиях не выводили, подобно Шекспиру, ни публичных женщин, ни пьяных мужиков, ни развратников дурного тона вроде Фальстафа: на что мог осмеливаться великий Шекспир, за то не следовало братья мелким подражателям Корнеля и Расина, потому что у них непременно вышло бы пошло, отвратительно и бессмысленно то, что у Шекспира живописно, поучительно и исполнено глубокого смысла! Но, по мнению наших критических *patres conscripti,*** г. Масальский потому не употреблял выражений, употребляемых Гоголем, что «он (г. Масальский) в языке придерживается грамматики г. Греча, а в изящном вкусе не отступает от образцов, представленных нам Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Батюшковым».² Но тщетно стал бы кто-нибудь искать в сочинениях г. Масальского чего-нибудь, кроме твердого знания грамматики г. Греча! Сочинения Карамзина были хороши, даже превосходны для своего времени; сочинения г. Масальского не были бы не только превосходны, но просто сносны даже для того времени, в которое начал писать Карамзин, потому что в сочинениях Карамзина есть талант, отражается оригинальная и самобытная личность, чего нет и следов в сочинениях г. Масальского. Жуковский...но скажите, ради здравого смысла, может ли существо-

* статья смешным (*франц.*). — *Ред.*

** отцов сенаторов (*латин.*). — *Ред.*